— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с… — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства…»

Коллежский секретарь задумался… Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде…

«И прочие чувства… — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может…»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот… В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему…

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом. — Деревяжка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к женину плечу и из-за плеча торчало то же самое… Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе…

«И прочие чувства… — думал он. — Это правда, что никаких чувств не было… Пойду сейчас к начальству расписываться… а разве это с чувствами делается? Так, зря… Поздравительная машина»…

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак… И всё это говорило ему о восторге, негодовании, гневе… Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила в расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— На&#769; тебе! На&#769; тебе! — бормотал он, надавливая на перо.

Огненный знак удовлетворился и исчез.

Зеркало

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы — всё это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом…

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но, тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет всё: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как ее жизнь постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы… и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

— Ради бога… ради бога! — шепчет Нелли.

Но вот наконец скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

— Доктор дома?

— Спят-с… — шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. — Только что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом.

— Му… муж болен! — выговаривает она.

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Муж болен! — продолжает Нелли, сдерживая рыдания. — Ради бога, поедемте… Скорее… как можно скорее!

— А? — мычит доктор, дуя на ладонь.

— Поедемте! И сию минуту! Иначе… иначе… страшно выговорить… Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и — ни с места.

— Завтра приеду… — бормочет он.

— Это невозможно! — пугается Нелли. — Я знаю, у мужа… тиф! Сейчас… сию минуту вы нужны!

— Я тово… только что приехал… — бормочет доктор. — Три дня на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен… Абсолютно не могу! Абсолютно! Я… я сам заразился… Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

— Температура к сорока идет… Абсолютно не могу! Я… я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу…

Доктор ложится.

— Но я прошу вас, доктор! — стонет в отчаянии Нелли. — Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедемте… Я заплачу вам, доктор!

— Боже мой… да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать… Думается ей, что если бы он знал, как дорог для нее муж и как она несчастна, то забыл бы и утомление и свою болезнь. Но где взять красноречия?

— Поезжайте к земскому доктору… — слышит она голос Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей не хватит: от нас сюда сорок верст да отсюда к земскому доктору почти столько… Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! Сжальтесь!

— Чёрт знает что… Тут жар… дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы… вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям… В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как самая последняя нищая… Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук.

— Вот он, сюртук! — помогает ему Нелли. — Позвольте, я его на вас надену… Вот так. Едемте. Я вам заплачу… всю жизнь буду признательна…

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю… В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой… Пропала шапка… Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: зги не видно… Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать…

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, он они не чувствуют ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони! — просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодезь с журавлем, длинный ряд конюшен и сараев… Наконец она дома.

— Погодите, я сейчас… — говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. — Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет.

— Пожалуйте, доктор… Доктор!

— А? Спросите у Домны… — бормочет Степан Лукич.

— Что?

— На съезде говорили… Власов говорил… Кого? Что?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

— К земскому врачу! — решает она.

Засим следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые кочки. Страдает она и душою и телом, и, чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов…

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну ищет денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастие представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней гробовщик.

— К чему это? Для чего? — спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у ее ног, другое стоит по-прежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула…» — думает она, легко вздыхая.

Ряженые

Выходите на улицу и глядите на ряженых.

Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то нарядившееся человеком. Это «что-то» толсто, обрюзгло и плешиво. Одето оно щегольски, по моде и тепло. На груди брелоки, на пальцах массивные перстни. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось елисеевского пойла и теперь решает вопрос: отправиться ли к Адели, лечь ли спать, или же засесть за винт? Через три часа оно будет ужинать, через пять — спать. Завтра проснется в полдень, пообедает, напьется пойла и опять примется за тот же вопрос. Послезавтра тоже… Кто это?

Это — свинья.

Вот мчится в роскошных санях старушенция в костюме дамы благотворительницы. Нарядилась она умело: на лице тупая важность, в ногах болонка, на запятках лакей. В саквояже покоятся собранные ею для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих денег только 43 коп. получат бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению. Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности… Хотите знать, кто эта благотворительница?

Это — чёртова перечница.

Вот бежит лисица…Гримировка великолепная: даже рыльце в пушку. Глядит она медово, говорит тенорком, со слезами на глазах. Если послушать ее, то она жертва людской интриги, подвохов, неблагодарности. Она ищет сочувствия, умоляет, чтобы ее поняли, ноет, слезоточит. Слушайте ее, но не попадайтесь ей в лапы. Она обчистит, обделает под орех, пустит без рубахи, ибо она — антрепренер.

Вот шествует нарядившийся рецензентом. Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать в нем — цепного пса.

Несколько поодаль от него прыгает нарядившийся драматургом. Этот что-то прячет под полой и робко озирается, словно стянул что-то… Он одет франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоит в переписке с Сарду. Талант у него необычайный, печет драмы, как блины, и может писать двумя руками сразу. Но современники не признают его… Они знают, что под оболочкой драматурга скрывается — закройщик модной мастерской.

Вот идет субъект, загримировавшийся забулдыгой. На нем рваная шапчонка, порыжелое пальто и нечищеные калоши… Он косится на дома и ищет вывески «Питейный дом» или «Трактир». Ему нужно выпить… Пьет он каждые десять минут: днем водку, ночью пиво, утром содовую воду. Состояние «под шофе» — его норма. Только в пьяном виде он и может говорить умно, мыслить, зарабатывать себе кусок хлеба, любить ближнего, презирать. Трезвый же он вял, глуп, жесток. Живет он по-свински. У него ни кола ни двора. Обитает где-то у чёрта на куличках, на задворках, снимая у вдовы-чиновницы темную и сырую комнату. Семьи у него нет, да и трудно представить его семейным. Умрет он под забором, но похоронят его с шиком, с некрологами и с речами, потому что он — талант.

А вот стоит нарядившийся талантом. Он сосредоточен, нахмурен и лаконичен. Не мешайте ему: думает или наблюдает. Раскусить его, что он за птица, трудно, потому что он редко снисходит до откровенности. Обыкновенно он не разборчив, но, ‹встретив› где-нибудь в ресторане или на вечере благоговеющего перед талантами юнца, он постарается выложить всю свою «программу»: всё на этом свете не годится, всё испошлилось, изгадилось, продалось, истрепалось; если человечеству угодно спастись, то оно должно поступать вот этак, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но… Толстой тоже хорош, но… Говоря же о своей «программе», он никогда не прибавляет этого «но». Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду сует свой нос, всюду нюхает, везде вертится, как чёрт перед заутреней. Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды». Своей работе он придает громадное значение и потому бережет себя, как зеницу ока. Он не пьет, часто ездит лечиться и оберегает себя строгим комфортом. Дома, когда он сидит у себя в кабинете и творит «новое слово», все ходят на цыпочках. Храни бог, если в кабинете не 15 градусов, если за дверью звякнет блюдечко или запищит ребенок — он схватит себя за волосы и грудным голосом скажет: «Пррроклятие… Нечего сказать, хороша жизнь писательская!» Когда он пишет, он священнодействует: морщит лоб, кусает перо, пыхтит, сопит, то и дело зачеркивает… Чтобы выжать из мозгов мысль, остроту, удачное сравнение, он пускает в дело пресс в сорок лошадиных сил; чтобы быть реальным, художественным, он тянется к аршину, фотографии, манекенам. Работает он только для искусства… Впрочем, если г. Вольфу угодно будет предложить ему заказ в 10 листов по 300 руб. за лист, то он возблагодарит создателя… Вероятно, вы его уже узнали…

Это — гусь лапчатый.

Новогодние великомученики

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты… На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры… Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками…

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку…

— Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Нарррод…

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах… Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты…

— Господин! — толкает городовой чиновника. — Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин — ни гласа, ни воздыхания… Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой…

— Хорошие штаны! — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно, рублей шесть стоят. И жилетка ловкая… Ежели по штанам судить, то из благородных…

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство… Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев.

— Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач.

— С Новым годом, с новым счастьем… — бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша.

— И вас также… Но… что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Не… нет…

— Но отчего же вам дурно сделалось?

— Ошалел-с… Я… я визиты делал…

— Много, стало быть, визитов сделали?

— Не… нет, не много-с… От обедни пришедши… выпил я чаю и пошел к Николаю Михайлычу… Тут, конечно, расписался… Оттеда пошел на Офицерскую… к Качалкину… Тут тоже расписался… Еще помню, тут в передней меня сквозняком продуло… От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу… Расписался…

— Еще одного чиновника привезли! — докладывает городовой.

— От Ивана Иваныча, — продолжает Синклетеев, — к купцу Хрымову рукой подать… Зашел поздравить… с семейством… Предлагают выпить для праздника… А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь… Ну, выпил рюмки три… колбасой закусил… Оттеда на Петербургскую сторону к Лиходееву… Хороший человек…

— И всё пешком?

— Пешком-с… Расписался у Лиходеева… От него пошел к Пелагее Емельяновне… Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило… От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову… Облеухова Василием звать, именинник… Не съешь именинного пирога — обидишь…

— Отставного военного и двух чиновников привезли! — докладывает городовой…

— Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову… У Изюмова холодного пива выпил… в горло ударило… От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу… оттеда к дяде Петру Семенычу… Племянница Настя шоколатом попоила… Потом к Ляпкину зашел… Нет, вру, не к Ляпкину, а к Дарье Никодимовне… От нее уж к Ляпкину пошел… Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал… Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал… У купца Дунькина был… Пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел… Выпил я рюмки три… пару сосисок съел — и тоже ничего… Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове… мерцание… Ослабел… Не знаю, отчего…

— Вы утомились… Отдохните немного, и мы вас домой отправим…

— Нельзя мне домой… — стонет Синклетеев. — Нужно еще к зятю Кузьме Вавилычу сходить… к экзекутору, к Наталье Егоровне… У многих я еще не был…

— И не следует ходить.

— Нельзя… Как можно с Новым годом не поздравить? Нужно-с… Не сходи к Наталье Егоровне, так жить не захочешь… Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте…

Синклетеев поднимается и тянется к одежде.

— Домой езжайте, если хотите, — говорит доктор, — но о визитах вам думать даже нельзя…

— Ничего-с, бог поможет… — вздыхает Синклетеев. — Я потихонечку пойду…

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

— Еще пятерых чиновников привезли! — докладывает городовой. — Куда прикажете положить?

Шампанское

(Мысли с новогоднего похмелья)

Не верьте шампанскому… Оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но… подальше от него! Шампанское — это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей мертвых и всякия нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического обмана.

Он пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то есть когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Оно есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых саврасов, кокоток… Где пьяный разгул, разврат, объегориванье ближнего, торжество гешефта, там прежде всего ищите шампанского. Платят за него не трудовые деньги, а шальные, лишние, бешеные, часто чужие…

Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с шампанского, — потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву!

Пьют его обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь.

Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами, за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одною ногою в могиле.

Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство.

Пьют его при встрече Нового года: с бокалами в руках кричат ему «ура» в полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову. Короче, где радость по заказу, где купленный восторг, лесть, словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда найдете вдову Клико. Нет, подальше от шампанского!

Визитные карточки

Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня на Новый год мои добрые знакомые. Прислали они мне их для того, чтобы почтальон сбил новые подметки и лишний раз подмигнул моей горничной. Один древний мудрец сказал: «Скажи мне, от кого ты получаешь визитные карточки, и я скажу, с кем ты знаком». Если кому интересно знать моих знакомых, то вот они — карточки:

Графская корона. Под нею буквы не то в готическом, не то в пошехонском стиле: «Потомственный почетный гражданин Клим Иванович Оболдеев».

Карточка с золотым ободком и загнутым углом. «Jean Pificoff». Этот Жан — здоровеннейший мужчина, говорящий хриплым басом, пахнущий уксусом и вечно ищущий по свету, где оскорбленному есть чувству… рюмка водки и рубль взаймы.

«Надворный советник и кавалер Геморрой Диоскорович Лодкин».

«Савватий Паникадилович Пищик-Заблудовский, член общества покровительства животным, агент страхового от огня общества «Саламандра», корреспондент журнала «Волна», комиссионер по продаже швейных машин Зингера и Комп. и проч.».

«Франц Эмилиевич Антр-Ну-Суади[216 - между нами будь сказано (франц. entre nous soit dit).], преподаватель бальных танцев и французского языка».

«Иеромонах Иеремия».

Княжеская корона. «Ученик VI класса Валентин Сысоевич Бумажкин».

Корона неопределенного свойства. «Действительный статский советник Эраст Кринолинович Стремглавов».

«Князь Агоп Минаевич Обшиавишили. Магазин южнобережных и кахетинских вин». Далее: помощник присяжного поверенного Митрофан Алексеевич Красных, Дизентерия Александровна Громоздкая, Никита Спевсипович Уехал… Диакон Петр Хлебонасущенский… Сотрудник журнала «Ребус» Иван Иванович Дьяволов… Редактор журнала «Луч» Юдофоб Юдофобович Окрейц и проч…

Письма

I. Открытое письмо к г. Окрейцу.

М. г.! Просьбу Вашу — рекомендовать журнал «Луч» знакомым — я исполнил. Но так как все мои знакомые живут далеко от меня, то мне приходилось ездить к ним на извозчике или же рекомендовать им Ваш уважаемый журнал по городской почте. На извозчиков и на марки я истратил 8 руб. 85 коп. Думаю, что Вы будете настолько джентльмен, что поспешите выслать мне эти деньги.

Примите и проч.

Р. Смирнов.

Гор. Жиздра, д. Хилкиной.

II. Тоже открытое письмо к разным лицам.

Я положительно популярен. В сражениях я никогда не бывал, мониторов не взрывал и телефонов не изобретал, но, тем не менее, я почему-то известен в Петербурге, Москве и даже в Гамбурге. В самое короткое время я получил множество приглашений и писем от следующих почтенных лиц и учреждений: от банкирской конторы Клима, от Гамбургской лотереи, от С.-Петербургской мастерской учебных пособий, пять объявлений от редакции журнала «Новь», от «Живописного обозрения», от г. Леухина, от картографического магазина Ильина и от многих других лиц. Удивительно, откуда они могли узнать меня и мой адрес? Принося означенным лицам и учреждениям искреннюю мою благодарность за их лестное для меня внимание, я, тем не менее, прошу их прекратить эту беспрерывную и частую корреспонденцию, так как она причиняет мне массу неудобств: почтальоны обрывают звонок, а масса писем порождает в обывателях и блюстителях порядка недоумения, сомнения и подозрительность по отношению к моему образу мыслей.

III. Письмо в редакцию «Осколков».

Г-н редактор! Слышны жалобы на то, что мы не дозрели, что мы отстали от Западной Европы… И действительно, отстали на целых 12 дней! Но ведь так легко догнать: стоило бы только первый день нового года считать не первым января, а 13-м. Мы стали бы тогда наряду со всей Европой!

Неудобств для этого, казалось бы, никаких. Экая важность, что дамы и девицы внезапно на 12 лишних дней постареют! Чиновники даже очень рады были бы: скорее жалованье получат. Конечно, для суеверных людей страшно начинать год с 13-го числа. Но разве цивилизация должна церемониться с суеверными людьми? А то, право, стыдно. Тогда, может быть, и курс совсем поднялся бы.

Примите и пр.

Подписчик № 11378.

IV. В редакцию «Радуги».

Будучи, как и дочь моя Зинаида, любителем сценических искусств, имею честь просить уважаемого г. Мансфельда сочинить мне для домашнего обихода четыре комедии, три драмы и две трагедии погамлетистее, на каковой предмет по изготовлении их вышлю три рубля. Сдачу прошу переслать почтовыми марками. При сем считаю долгом присовокупить, что мои соседи, выписывавшие произведения г. Мансфельда оптом и в розницу, весьма довольны и благодарят за дешевизну. Хвалят у нас и г. Метцля за его доброту. Видя, что в «Радугу» не помещаются все произведения г. Мансфельда, он исключительно для них только стал издавать еще «Эпоху». Какая редкая доброта!

Примите и проч.

Полковник Кочкарев.

Пенза, 2-го января.

Художество

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика: куцый Сережка и церковный сторож Матвей. Сережка, малый лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушубка, словно на линяющем псе, отвисают клочья шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик, в новом тулупе и валенках, глядит кроткими голубыми глазами наверх, где на высоком отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом.

— Что ж, это мы до вечера так будем стоять, сложа руки? — прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. — Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?

— Так ты тово… показывай… — бормочет Матвей, кротко мигая глазами…

— Показывай… Всё я: я и показывай, я и делай. У самих ума нет! Мерять чиркулем, вот нужно что! Не вымерямши, нельзя лед ломать. Меряй! Бери чиркуль!

Матвей берет из рук Сережки циркуль и неумело, топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно щурит глаза и, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством.

— Э-э-э! — сердится он. — И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не Иордань делать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебе говорю!

Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато повернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Иордани уже готовы; теперь остается только колоть лед…

Но прежде чем приступить к работе, Сережка долго еще ломается, капризничает, попрекает:

— Я не обязан на вас работать! Ты при церкви служишь, ты и делай!

Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба, давшая ему редкий талант — удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному, кроткому Матвею приходится выслушать от него много ядовитых, презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить.

— Я сейчас приду… — говорит он, закуривая. — А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.

Матвей остается один. Воздух сер и неласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу изб приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая, кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь неподвижно, как каменная, — должно быть, спит или задумалась.

Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо ждет. Задумчиво-сонный вид реки, круженье галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а Сережки всё нет. Давно уже река подметена и принесен ящик, чтоб сидеть, а пьянчуга не показывается. Матвей ждет и только позевывает. Чувство скуки ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять.

Наконец Сережка показывается из-за изб. Он идет вразвалку, еле ступая. Идти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь, сверху вниз по прямой линии, и при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине — и всё это медленно, с остановками.

— Ты что же это? — набрасывается он на Матвея. — Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?

Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности. Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника.

— Легче у краев! Легче! — командует он. — Не умеешь, так не берись, а коли взялся, так делай. Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при виде зрителей, еще больше волнуется.

— Возьму и не стану делать… — говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплевывая. — Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом годе в Костюкове Степка Гульков взялся по-моему Иордань строить. И что ж? Смех один вышел. Костюковские к нам же и пришли — видимо-невидимо! Изо всех деревень народу навалило.

— Потому окроме нас нигде настоящей Иордани…

— Работай, некогда разговаривать… Да, дед… Во всей губернии другой такой Иордани не найдешь. Солдаты сказывают, поди-ка поищи, в городах даже хуже. Легче, легче!

Матвей кряхтит и отдувается. Работа не легкая. Лед крепок и глубок; нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади.

Но как ни тяжела работа, как ни бестолкова команда Сережки, к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг.

— В прошлом годе лучше было… — сердится Сережка. — И этого даже ты не мог сделать! Э, голова! Держат же таких дураков при храме божием! Ступай, доску принеси колышки делать! Неси круг, ворона! Да того… хлеба захвати где-нибудь… огурцов, что ли.

Матвей уходит и, немного погодя, приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.

— Как раз… годится… Подновим только краску и за первый сорт… Ну, что ж стоишь? Делай аналой! Или того… ступай бревна принеси, крест делать…

Матвей, с самого утра ничего не евший и не пивший, опять плетется на гору. Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою: кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественный Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест, он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, отчего он не идет; он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант; ничто не нравится.

Матвей выпиливает большой кусок льда для аналоя.

— Зачем же ты уголок отшиб? — кричит Сережка и злобно таращит на него глаза. — Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?

— Прости, Христа ради.

— Делай сызнова!

Матвей пилит снова… и нет конца его мукам! Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой; на аналое нужно выточить крест и раскрытое Евангелие. Но это не всё. За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте голубь, выточенный из льда. Путь от церкви к Иордани будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, Евангелие и епитрахиль, спускающаяся с аналоя, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь как медведь, обделывает крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз, и так до тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда… Работа не легкая, требующая и избытка сил и терпения.

Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас пойдет на реку и сломает всю работу. Это он ищет подходящих красок.

Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки; не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он свекловичных бураков, в другой луковичной шелухи, из которой делает он желтую краску. Он бранится, толкается, грозит и… хоть бы одна живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга.

Настает крещенское утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве кишат народом. Всё, что составляет Иордань, старательно скрыто под новыми рогожами. Сережка смирно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа: тут много и из чужих приходов; все эти люди в мороз, по снегу прошли не мало верст пешком только затем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань. Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело, уже опять в церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли… Погода прекрасная… На небе ни облачка. Солнце светит ослепительно.

Наверху раздается благовест… Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи рук, — тысячи крестных знамений!

И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот, наконец, звонят к «Достойно»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другою выносят хоругви, раздается бойкий, спешащий трезвон. Сережка дрожащей рукой сдергивает рогожи… и народ видит нечто необычайное. Аналой, деревянный круг, колышки и крест на льду переливают тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно… Боже милостивый, как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышатся и двигаются над толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иордани. Машут колокольне руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служат долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества.

Ночь на кладбище

(Святочный рассказ)

— Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь страшное!

Иван Иваныч покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

— Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши… Встречал я новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег…

Итак, напился я с горя… Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая… Сам чёрт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь… Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы… Бедная природа переживала фридрих-гераус… Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение…

«Жизнь — канитель… — философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. — Пустое, бесцветное прозябание… мираж… Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был… Пройдут еще годы, и ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим… В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню — дистанция для выпившего почтенная… Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву…

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью… Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился… Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх… Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

«Извозчик!» — закричал я.

Ответа не последовало… Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал… Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь… То я бежал по тротуарам, то по дороге… Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

— Не помню, как долго я бежал… Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет… Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного… Я сел на него, чтобы отдохнуть… Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда, немного спустя, я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите…

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил… Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет… И представьте мой ужас! Это был деревянный крест…

«Боже мои, я попал на кладбище! — подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. — Вместе того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!»

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов… Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод…

«Не может быть! — утешал я себя. — Это оптический обман, галлюцинация… Всё это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи…Трус!»

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги… Кто-то медленно шел, но… то были не человеческие шаги… для человека они были слишком тихи и мелки…

«Мертвец», — подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул… Засим я услышал вой… Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу… Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я отупел и окаменел от ужаса… Депре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа… Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван…

«Боже, хоть бы скорее утро», — молился я.

Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги… Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня… Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо… Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крякнул.

— Ну? — спросили его барышни.

— Очнулся я в маленькой квадратной комнате… В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет… «Ну, — подумал я, — это, значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили»… Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:

«Где ты его взял?» — допрашивал чей-то бас.

«Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, — отвечал другой бас, — где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет… Должно, выпивши…»

Утром, когда я проснулся, меня выпустили…

Конкурс

Редакция «Осколков» объявляет конкурс на премию.

Кто напишет лучшее любовное письмо, тот в награду получит: фотографию хорошенькой женщины, свидетельство (за подписью редактора и судей конкурса) в том, что такой-то, тогда-то вышел победителем на конкурсе, и право быть записанным в число даровых подписчиков настоящего или будущего года, смотря по желанию. Кроме того, письмо, напечатанное в «Осколках», даст его автору 15 коп. со строки.

Условия конкурса: 1) Участниками конкурса могут быть только лица мужеского пола. 2) Письмо должно быть прислано в редакцию «Осколков» не позже 1 марта сего года и снабжено адресом и фамилией автора. 3) В письме автор объясняется в любви; доказывает, что он действительно влюблен и страдает; проводит тут же, кстати, параллель между простым увлечением и настоящею любовью; описывает свои новые ощущения, не вдаваясь в глубокий анализ; просит руки; ревнует к Иксу и Зету; описывает муки, какие терпит он при одной только мысли об отказе; кланяется ее папаше и мамаше; тонко и осторожно справляется о приданом и… всё это не более как в 50 строках. 4) Conditio sine qua non[217 - Непременное условие (лат.).]: автор должен быть литературен, приличен, нежен, игрив и поэтичен. Нытье, ложный классицизм и плохие стихи не допускаются. Вот и всё.

Судьями будут назначены дамы.

Неудача

Илья Сергеич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Клюет! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять… Накроем… Благословение образом свято и ненарушимо… Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер! — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!

— Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала, девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени… Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы… (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чем же вы писать можете?

— О любви… о чувствах… о ваших глазах… Прочтете — очумеете… Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика важность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом, ручке.

— Снимай образ! — заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея от волнения и застегиваясь. — Идем! Ну!

И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети… — забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои… Живите… плодитесь… размножайтесь…

— И… и я благословляю… — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меля единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее…

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Окрутили! — подумал он, млея от ужаса. — Крышка теперь тебе, брат! Не выскочишь!»

И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

— Бла… благословляю… — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя… становись рядом… Петровна, давай образ…

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.

— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-светы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.

К сведению мужей

(Научная статья)

По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих жен. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек — и наоборот. Оставляя в стороне способы, которые употребляются австралийскими дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов.

Самый обычный и употребительный — это старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом плане томное выражение лица, загадочно-жгучий взор, провожание, «понимание друг друга без слов», просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня «терпит» около себя вздыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж — чичисбей, не зевай: барыня «фатально» падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26–35. Он легок, а потому и употребляется чаще всего людьми неизобретательными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших межевых чиновников, мелких железнодорожников и отставных юнкеров.

Способ кузенов. Тут измена бывает не преднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно, сама собою, где-нибудь на даче или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского или чудной лунной ночи.

Способ по теории нищей братии: просите и дастся вам. Не справляясь, нравитесь вы ей или нет, вы с первого же абцуга начинаете приставать к ней, как банный лист, как репейник… Вы не отходите от нее ни на один шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью: она от вас, вы за ней… Комплименты, любезности, объяснения в любви — ваша речь. Вы умоляете, клянетесь, обещаете застрелиться… Вам смеются в лицо, вас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но, тем не менее, вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке… Она вспыхивает, плюет, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять… Как истый нищий, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза… Вам, наконец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсылка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была вне дома, она всюду видит вас: в театре, на скачках, в собрании… «Подайте милостыньку!» — умоляют ее ваши глаза. И так далее. Проходит полгода, год… и скала трогается. В конце концов к вам или привыкают, или же подают вам милостыню для того только, чтобы отвязаться… Главное, нужно помнить, что aqua cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo[218 - капля долбит камень не силою, но частым падением (лат.).]…

Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы наудачу, напролом и… если не вылетите из окна третьего этажа, или не сломаете шеи, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.

Способ &#224; la граф Нулин, нередко практикуемый проезжими поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из 100 случаев не удаются только 5, да и то по не зависящим от редакции обстоятельствам.

Способ тонкий. Самый умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком… Тут вы действуете на расстоянии. Всё дело в некоторого рода гипнотизации.

Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж…

Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре…

— А как поживает ваша супруга? — спрашиваете вы его между прочим. — Милейшая женщина! Ужасно она мне нравится! То есть чёрт знает, как нравится!

— Гм… Чем же это она вам так понравилась? — спрашивает довольный супруг.

— И вы еще спрашиваете?! Прелестнейшее, поэтическое создание… Впрочем, вы, мужья, прозаики, не понимаете!.. Поймите, что это идеальная женщина! Я радуюсь за вас! Таких-то именно в наше время и нужно женщин… именно таких! Красавица, полная жизни и правды, искренняя и в то же время загадочная… Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно, всем пылом… и проч…

Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене:

— Видал я Петра Иваныча… Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная… и будто любить ты способна как-то особенно… С три короба наговорил… Ха-ха…

Немного спустя вы опять норовите встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой… — говорите вы ему. — Заезжал ко мне вчера один художник… Получил он от какого-то князя заказ: написать за 2000 руб. головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся… А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало в думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?!»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем нечаянные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены.

— Что ты вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Иваныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу.

— Видал в театре Петра Иваныча, — говорит муж после восьмой или девятой встречи. — Просит извинения, что не может заехать к тебе: некогда! Чудак, ей-богу! Пристал ко мне, как с ножом к горлу: «Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, наружностью, с таким развитием и уменьем чувствовать грешно жить дома!» Ха-ха… Далась ты ему! «Не будь, говорит, я занят, отбил бы я у вас ее…» Что ж, говорю, отбивайте… «Вы, говорит, не понимаете ее! Ее понять нужно! Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода!» Ха-ха… Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы запел…

И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее, и только вам может она рассказать многое… очень многое! Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз…

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене:

— Встретил я сейчас Петра Иваныча… Скучный такой… Жалуется, что тоска одолела. «С тоски, говорит, и домой не хожу, всю ночь по N-скому бульвару гуляю…» Чудак!

Жена вся в жару… Ей страстно хотелось бы пойти на N-ский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать…

«Но это дико… невозможно», — думает она.

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу…

— Пойду! — решает она.

План у нее уже готов: до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и — назад… Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа… И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно… Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, он…Дрожа всем телом, медленно приближается она к вам… вы идете к ней… Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза… Проходит еще минута молчания и… кролик беззаветно падает в пасть удава.

Первый дебют

(Рассказ)

Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка N, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста (каковыми считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к чёрту.

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно: заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил и всё время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Пятеркин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю.

В-четвертых… Впрочем, если перечислять всё то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых… до сотых включительно…

«Позор… мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! К чёрту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение… подальше от этих господ… подальше от этих дрязг».

— Да езжай же, чёрт тебя возьми! — набросился он на возницу. — Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!

— Гони… гони… — передразнил возница. — Нешто не видишь, какая дорога? Чёрта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкою грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

— Зги не видать… — продолжал возница. — Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У какого Луки?

— Тут по дороге в лесу старик такой живет. Заместо лесника его держут. Да вот она и изба самая.

Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

— Здорово, старик! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать?

— Мо…можно… — проворчал Лука. — Тут уж есть двое… Пожалуйте в светелку…

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и… мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.

— Коллега! Какими судьбами? — заговорили они. — И вас загнало сюда ненастье? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

— Я не понимаю… — пробормотал он, с достоинством пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я… я даже удивляюсь!

Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

— Ну-с, читаю я дознание… А в дознании, батенька, противоречие на противоречии… Пишет, например, становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище… Лесной огонек поэтичен только издалека, вблизи же он — жалкая проза… Здесь освещал он маленькую, серую каморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Свиньи… — подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. — Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».

— Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

— Сени есть, да там холодно-с.

— Чертовски холодно… — проворчал Семечкин. — Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чаю напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

— Чай у меня есть… — сказал фон Пах. — Теперь бы только сахару достать… Дед, дай-ка сахару!

— Эва! Сахару… — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели! Тут не город.

— Что ж? Будем пить без сахару, — решил фон Пах.

Семечкин заварил чай и налил три чашки.

«И мне налили… — подумал Пятеркин. — Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар».

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.

— Ей-богу, это мило! — зашептал фон Пах. — У нас нет сахару, у него нет чая… Ха-ха… Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка… Коллега! — повернулся он к Пятеркину. — Вы напрасно брезгаете нашим чаем… Он не из дешевых… А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы… — подумал он. — Оскорбили, оплевали и еще лезут! И это люди! Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде… Не буду обращать на них внимание… Лягу…»

Около печи на полу был расстелен тулуп… У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой… Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде… Брр!.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

— Ни то, ни другое… Это только повод к гражданскому иску…

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости… Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали, как нелогичны!»

Спор кончился тем, что фон Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

— Ну, будет… Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь…

— Он, кажется, уже спит… — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите?

«Пристают… — подумал Пятеркин. — Свиньи…»

— Молчит, значит спит… — промычал фон Пах. — Ухитрился уснуть в этом хлеву… Говорят, что жизнь юристов кабинетная… Не кабинетная, а собачья… Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед… как его?.. Шестеркин, что ли? Горячий, огневой…

— М-да… Лет через пять хорошим адвокатом будет… Есть у мальчика манера… Еще на губах молоко не обсохло, а уж говорит с завитушками и любит фейерверки пускать… Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

— А с сахаром-то история… — ухмыльнулся фон Пах. — Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

— А чёрт его знает…

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

— Что с ним? — ужаснулся фон Пах. — Голубчик, что с вами?

— Вы… вы больны? — вскочил Семечкин. — Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

— Это низко… гадко! Целый день… целый день!

— Душенька моя, что гадко и низко? Осип Осипыч, дайте воды! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый… Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет.

— Гадко… мерзко!

— Да ничего гадкого не было! Всё было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька! Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишко музыкант одолжил. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай, порешили уже адвокатуру к чёрту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют стоит!

— А кто издевался? Кто… глумился?

— Никто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Укройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.

У телефона

— Что вам угодно? — спрашивает женский голос.

— Соединить с «Славянским Базаром».

— Готово!

Через три минуты слышу звонок… Прикладываю трубку к уху в слышу звуки неопределенного характера: не то ветер дует, не то горох сыплется… Кто-то что-то лепечет…

— Есть свободные кабинеты? — спрашиваю я.

— Никого нет дома… — отвечает прерывистый детский голосок. — Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Францовны грипп.

— Вы кто? Из «Славянского Базара»?

— Я — Сережа… Мой папа доктор… Он принимает по утрам…

— Душечка, мне не доктор нужен, а «Славянский Базар»…

— Какой базар? (смех). Теперь я знаю, кто вы… Вы Павел Андреич… А мы от Кати письмо получили! (смех). Она на офицере женится… А вы когда же мне краски купите?

Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню…

— Соединить со «Славянским Базаром»! — прошу я.

— Наконец-то! — отвечает хриплый бас. — И Фукс с вами?

— Какой Фукс? Я прошу соединить со «Славянским Базаром»!!

— Вы в «Славянском Базаре»! Хорошо, приеду… Сегодня же и кончим наше дело… Я сейчас… Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины… Я еще не обедал…

«Тьфу! Чёрт знает что! — думаю я, отходя от телефона. — Может быть, я с телефоном обращаться не умею, путаю… Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить, потом эту штуку снять и приложить к уху… Ну-с, потом? Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку… Кажется, так!»

Я опять звоню. Ответа нет. Звоню с остервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге…

— С кем говорю? — кричу я. — Отвечайте же! Громче!

— Мануфактура. Тимофея Ваксина сыновья…

— Покорнейше благодарю… Не нужно мне вашей мануфактуры…

— Вы Сычов? Миткаль вам уж послан…

Я вешаю трубку и опять начинаю экзаменовать себя: не путаю ли я? Прочитываю «правила», выкуриваю папиросу и опять звоню. Ответа нет…

«Должно быть, в «Славянском Базаре» телефон испортился, — думаю я. — Попробую поговорить с «Эрмитажем»…»

Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией, и звоню…

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С «Эрми-та-жем»!!

Проходит пять минут, десять… Терпение начинает мало-помалу лопаться, но вот — ура! — слышится звонок.

— С кем говорю? — спрашиваю я.

— Центральная станция…

— Тьфу! Соедините с «Эрмитажем»? Ради бога!

— С Феррейном?

— С «Эр-ми-та-жем»!!

— Готово…

«Ну, кажется, кончились мои мучения… — думаю я. — Уф, даже пот выступил!»

Звонок. Хватаюсь за трубку и взываю:

— Отдельные кабинеты есть?

— Папа и мама уехали к Серафиме Петровне, у Луизы Францовны грипп… Никого нет дома!

— Это вы, Сережа?

— Я… А вы кто? (смех)… Павел Андреич? Отчего вы у нас вчера не были? (смех). Папа китайские тени показывал… Надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну…

Сережин голос вдруг обрывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три, до боли в пальцах.

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С рестораном, что на Трубной площади! Да вы слышите или нет?

— Отлично слышу-с… Но здесь не «Эрмитаж», а «Славянский Базар».

— Вы «Славянский Базар»?

— Точно так… «Славянский Базар»…

— Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты?

— Сейчас узнаю-с…

Проходит минута, другая… По трубке пробегает легкая голосовая дрожь… Я вслушиваюсь и ничего не понимаю…

— Отвечайте же: есть кабинеты?

— Да вам что нужно? — спрашивает женский голос.

— Вы из «Славянского Базара»?

— Из центральной станции…

(Продолжение до nec plus ultra[219 - донельзя, до крайних пределов (лат.).]).

Детвора

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, во в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. — Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша. — Семен Семеныч! Девять!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. — Ай!

— Не бей его, — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети…

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. — Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного, Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

— Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить…

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке… И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть, — шепчет он.

— Почему?

— Потому что… потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет…

— Я за тебя поставлю! — говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. — Только смотри, отдашь после.

Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят… — говорит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Соня.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошенничал, — басит ни с того ни с сего Алеша.

— Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. — Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть, — говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас, — говорит он, роясь в карманах. — У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет… копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

— В таком случае разменяй мне, — пристает он к Грише, придя из кухни. — Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу, — говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными, мозгами.

— Вася, да я за тебя поставлю! — говорит Соня. — Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. — Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

— Поди, на мамину постель ложись! — говорит Аня, уводя ее из столовой. — Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

Открытие

Навозну кучу разрывая, Петух нашел жемчужное зерно…

Крылов.

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и, от нечего делать, настраивал себя на грустный лад. Не далее как сегодня вечером, на бале у знакомых, он нечаянно встретился с барыней, в которую лет 20–25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так же легко было влюбиться, как наступить соседу на мозоль. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано нежным голубым бархатом, и длинные золотисто-каштановые волосы, похожие на поле поспевшей ржи, когда оно волнуется в бурю перед грозой… Красавица была неприступна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато, раз улыбнувшись, «пламя гаснущих свечей она улыбкой оживляла»… Теперь же это была худосочная, болтливая старушенция с кислыми глазами и желтыми зубами… Фи!

«Возмутительно! — думал Бахромкин, водя машинально карандашом по бумаге. — Никакая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса…»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вскочил, как ужаленный…

— Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? Я рисовать умею?!

На листе бумаги, по которому машинально водил карандаш, из-за аляповатых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромал, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве…

— Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и вдруг на старости лет — благодарю, не ожидал, — талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи… Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая…

— Удивительно! — пожал он плечами. — И как недурно, чёрт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковина!

Найди Бахромкин у себя в старом жилете деньги, получи известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей…

— Превосходно! Браво! — восхищался он. — Поучиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дольше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рябчика и выпив два стакана бургонского, Бахромкин раскис и задумался… Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не помыслил даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации… Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи… Острил он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всячески заглушался суетою…

«Чем чёрт не шутит, — подумал Бахромкин, — может быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, не похожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обыкновенных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают им чинов и орденов… — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов… Да и судить-то об их деятельности могут только избранные…»

Тут же, кстати, Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого… Его мать, нервная, эксцентричная женщина, идя однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. — «Это поэт!» — ответила она. И она, по его мнению, права… Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно…

«Вольная жизнь, не будничная… — думал Бахромкин, идя к постели. — А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни взбирайся, а имя мое не пойдет дальше муравейника… У них же совсем другое… Поэт или художник спит или пьянствует себе безмятежно, а в это время незаметно для него в городах и весях зубрят его стихи или рассматривают картинки… Не знать их имен считается невоспитанностью, невежеством… моветонством…»

Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кивнул лакею… Лакей подошел к нему и принялся осторожно снимать с него одежду за одеждой.

«М-да… необыкновенная жизнь… Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить… На что плох Тредьяковский, и того помнят… Бррр… холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пока лакей снимал с него дневную сорочку и надевал ночную, он нарисовал себе картину… Вот он, художник или поэт, темною ночью плетется к себе домой… Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пешком… Идет он жалкенький, в порыжелом пальто, быть может, даже без калош… У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая скотина отворяет дверь и не глядит… Там, где-то в толпе, имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не вежливее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее… Имя в почете, но личность в забросе… Вот он, утомленный и голодный, входит наконец к себе в темный и душный номер… Ему хочется есть и пить, но рябчиков и бургонского — увы! — нет… Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей… Воду наливай себе сам, раздевайся сам… ходи босиком по холодному полу… В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей… что в среднем ящике стола у него нет Анны и Станислава, а в нижнем — чековой книжки…

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым одеялом.

«Ну его к чёрту! — подумал он, нежась и сладко засыпая. — Ну его… к… чёрту… Хорошо, что я… в молодости не тово… не открыл…»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

Самый большой город

В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.

Однажды какими-то судьбами нелегкая занесла в г. Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом.

— Это какой город? — спросил он возницу, въезжая на улицу.

— Тим! — отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.

Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и уснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.

— А это какой город? — спросил он.

— Ти… Тим! Да ну же, проклятая! — отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошаденке выбраться из ямы.

Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.

— А это какой город? — спросил англичанин, глядя на дома.

— Тим!

Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим».

Тоска

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать…

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места…

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово… сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня полежал в больнице и помер… Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай… — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется… Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой…

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих… двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак — для него теперь всё равно, были бы только седоки… Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти…

— Гы-ы… гы-ы… — хохочет Иона. — Какая есть…

— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит… — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда…

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, чёрт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе… тово… сын помер!

— Все помрем… — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри… в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы… — смеется он. — Веселые господа… дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля… Хи-хо-хо… Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи… Ему невмоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой…

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен…»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слыхал? На этой неделе в больнице… История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с толком, с расстановкой… Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь… Небось, выспишься…»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один, думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко…

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…

Иона увлекается и рассказывает ей всё…

Переполох

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок… — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась…»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало… Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки… Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon[220 - Извините (франц.).], я… я нечаянно рассыпала… зацепила рукавом…

И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха… Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — всё носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который всё еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли всё это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня… обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи… — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали… Нас раздевали всех догола и обыскивали… А я, барышня, вот как перед богом… Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но… зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли… Барыня сама своими руками всё обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко… оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а всё же… как бы прислуга… Это не то, что у папаши с мамашей жить…

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь… Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет!? В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам… — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну… Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать… За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон аля рюсс! — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал… — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma ch&#232;re[221 - моя дорогая (франц.).], то пусть не подают. Я ведь это так… между прочим…

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь также сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту…

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право… некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Феня, некстати… Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и всё. И я найду эту брошку! — она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. — А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню! О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но всё это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что кажется, всё на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю… Только вы это напрасно… Зачем? Обыскали, а вы того… что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго…

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм… Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены… Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин…

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем… Вам надо, чтобы меня совесть мучила…

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно… Но вы все-таки того… не уезжайте… Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. — Что же мне, на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже перед смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я… взял… Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность… Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего… — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она… не дает. Ведь этот дом и всё это мой отец наживал, Марья Андреевна! Всё ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и… всё мое! А она забрала, завладела всем… Не судиться же мне с ней, согласитесь… Прошу вас, убедительно, извините и… и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner[222 - Всё понять, всё простить (франц.).]. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел… Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю… Иначе и быть не может… Да, конечно… Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты… управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. Закладывают, перезакладывают… Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны. — Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. — А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам… толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

Беседа пьяного с трезвым чёртом

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него чёрт… Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чёрт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки… Прическа &#224; la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой… Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев чёрта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

— С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрошенному гостю.

Чёрт сконфузился и потупил глазки.

— Вы не стесняйтесь, — продолжал Лахматов. — Подойдите ближе… Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно… по душе… Кто вы?

Чёрт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

— Я чёрт, или дьявол… — отрекомендовался он. — Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!

— Слышал, слышал… Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад… А чем вы занимаетесь?

Чёрт еще больше сконфузился…

— Собственно говоря, занятий у меня определенных нет… — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». — Прежде, действительно, у нас было занятие… Мы людей искушали… совращали их с пути добра на стезю зла… Теперь же это занятие, антр-ну-суади[223 - между нами будь сказано (франц. entre nous soit dit).], и плевка не стоит… Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас… Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

— Это так… Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

— Да… Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу… Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала… В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся… Ни рожна мы в этом не смыслим… Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди… Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

— Положение у нас прежнее-с… — ответил чёрт. — Штат нисколько не изменился… По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные… Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что чёрт — должность почетная… Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди… Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели… Только и живем доходами… Поставляешь грешникам провизию, ну и… хапнешь… Сатана постарел, ездит всё на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь…

Лахматов налил чёрту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Чёрт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

Анюта

В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет 25-ти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная… Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу — всё, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано…

— Правое легкое состоит из трех долей… — зубрил Клочков. — Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер, на боковой поверхности до 4-го ребра… назади до spina scapulae[224 - до ости лопатки (лат.).]…

Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

— Эти ребра похожи на рояльные клавиши, — сказал он. — Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке… А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

— Гм… Первое ребро не прощупывается… Оно за ключицей… Вот это будет второе ребро… Так-с… Это вот третье… Это вот четвертое… Гм… Так-с… Что ты жмешься?

— У вас пальцы холодные!

— Ну, ну… не умрешь, не вертись… Стало быть, это третье ребро, а это четвертое… Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе… это третье… Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно… Придется нарисовать. Где мой уголек?

Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

— Превосходно. Всё, как на ладони… Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

— Теперь всё ясно, — сказал Клочков, перестав стучать. — Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и всё думала, думала…

За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков — шестой… Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.

— Можно войти? — послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.

— А я к вам с просьбой, — начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. — Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!

— Ах, с удовольствием! — согласился Клочков. — Ступай, Анюта.

— Чего я там не видела! — тихо проговорила Анюта.

— Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

— А что вы пишете? — спросил Клочков.

— Психею. Хороший сюжет, да всё как-то не выходит; приходится всё с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы всё зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

— Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.

— Гм… Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Чёрт знает как живете!

— То есть как? Иначе нельзя жить… От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

— Так-то так… — сказал художник и брезгливо поморщился, — но можно все-таки лучше жить… Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут чёрт знает что! Постель не прибрана, помои, сор… вчерашняя каша на тарелке… тьфу!

— Это правда, — сказал медик и сконфузился, — но Анюте некогда было сегодня убрать. Всё время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины, — и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой… И он решил расстаться с ней, немедля, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

— Вот что, моя милая… Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губи у нее задрожали.

— Согласись, что рано или поздно нам всё равно пришлось бы расстаться, — сказал медик. — Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь…

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахару нашла на окне и положила на столе возле книг.

— Это ваше… сахар… — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Ну, что же ты плачешь? — спросил Клочков.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

— Странная ты, право… Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век, же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.

«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? — подумал он. — В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».

И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

— Ну, что же стоишь? Уходить, так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции — к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

— Правое легкое состоит из трех долей… — зубрил он. — Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер…

А в коридоре кто-то кричал во всё горло:

— Грригорий, самовар!

Актерская гибель

Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, «вдрызг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил восвояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

— Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил? — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. — Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.

— Хоть бы рожу-то вымыл! — продолжал Сигаев. — Стыдно глядеть! Ты натрескался или… болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и всё громадное тело верзилы-простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен! — встревожился он. — Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

— Это ты простудился! — продолжал Сигаев, беря его за руку. — Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

— До… домой хочу, — пробормотал Щипцов.

— А ты нешто сейчас не дома?

— Нет… в Вязьму…

— Эва, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доскачешь… Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили и могилок их не сыщешь…

— У меня там ро… родина…

— Ну, нечего, нечего мерлехлюндию распускать. Эта психопатия чувств, брат, последнее дело… Выздоравливай, да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

— На, пей! — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. — Пей прямо из пузырька… Разом! Вот так… На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову jeune-premier[225 - первый любовник (франц.).] Брама-Глинский. Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа, но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных…

— Ты, я слышал, заболел? — обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. — Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать… молчи…

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо! — услышал jeune-premier.

— Куда это домой?

— В Вязьму… на родину…

— До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст… — вздохнул Брама-Глинский, барабаня по стеклу. — А зачем тебе в Вязьму?

— Там бы помереть…

— Ну, вот еще, выдумал! Помереть… Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла… Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До ста лет проживешь… Что у тебя болит?

— Ничего не болит, но я… чувствую…

— Ничего ты не чувствуешь, а всё это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает… Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил да потом еще за ромом послал… Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить…

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза заблестели.

— А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал он, поднимая голову. — Да что говорить! Бил я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!

— Что ж ты плачешь?

— В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку!» Такие-то дела.

— Что ж ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабаш… чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.

— Прощай! В Вязьму еду! — проговорил он покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гм!.. Я пешком пойду!

— Ты ошалел…

Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

— Нет, ты, я вижу, спятил! — решил jeune-premier. — Вот что, брат… Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну, и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита: авось, баба сжалится — отпустит в долг! Jeune-premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат, сидел он потом за столом и пил чай с коньяком; машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Jeune-premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

— Что это вы, ангел, хворать вздумали? — закудахтал он, морща нос. — Ай, ай! Нешто при вашей комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово… И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали и… с кулаками даже лезли, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена, а как узнал, что вы прихворнули, — словно кто ножом резанул.

Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос… Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

— Знаешь что, Мифа? — спросил он, произнося в нос вместо ш — ф и придавая своему лицу таинственное выражение. — Знаешь что?! Тебе нужно выпить касторки!!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.

— Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил! — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. — Запустить болезнь не трудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками.

— Да-с… — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова. — Прислали бы за мной, я и пришел бы… Насчет денег беспокоиться нечего… Я из жалости… Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Таперя вот извольте капель этих принять. Вкусные капли! А таперя извольте маслица выпить. Касторка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а таперя прощайте-с…

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло.

— В Вязьму! — зашептал он, увидав комика. — В Вязьму!

— Вот это, брат, уж мне и не нравится! — развел руками комик. — Вот… вот… вот это, брат, и нехорошо! Извини, но… даже, брат, глупо…

— В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

— Не… не ожидал от тебя!.. — бормотал совсем растерявшийся комик. — Чёрт знает! Чего ради расквасился! Э… э… э… и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь. Нешто актеру можно плакать?

— Ни жены, ни детей, — бормотал Щипцов. — Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семен, жизнь! Ох, в Вязьму бы!

— Э… э… э… и нехорошо! Вот и глупо… подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и всё бормотал про Вязьму… Наконец, комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

— Хороший город! — утешал он. — Отличный, брат, город! Пряниками прославился. Пряники классические, но — между нами говоря — того… подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того… Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

Панихида

В церкви Одигитриевской божией матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навыпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктитору просфору… Всё это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев… Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья? — думает лавочник. — А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость… Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

— Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? — слышит он сердитый голос отца Григория. — Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

— Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотевшее лицо.

— Точно так.

— Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреичем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

— Точно так… я-с написал… — отвечает лавочник.

— Как же ты смел написать это? — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шёпоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто.

— Как ты смел? — повторяет батюшка.

— Ко… кого-с? — недоумевает Андрей Андреич.

— Ты не понимаешь?! — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. — Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

— Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. — Но ведь господь, по благости своей, тово… это самое, простил блудницу… место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините…

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

— Вот как ты понимаешь! — всплескивает руками отец Григорий. — Но ведь господь простил — понимаешь? — простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай… Не вникай и молчи!

— Но ведь она тово… извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

— Актерка! Да кто бы она ни была, ты всё после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

— Это точно… — соглашается лавочник.

— Наложить бы на тебя эпитимию, — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича, — так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали… Филозоф!

— Оно, конечно… действительно… — бормочет лавочник, — слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному… чтоб вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора-воина, убиенного Павла и прочее разное… Так и я желал.

— Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

— Слушаю, — говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. — Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой… Потому, как я все-таки отец ей… сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово… извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон!

— Вот это хорошо! — говорит отец Григорий, разоблачаясь. — За это хвалю. Можно одобрить… Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и, немного погодя, панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение… Возле Андрея Андреича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку… Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и св. писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заикаясь в стараясь выражаться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву…

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам…

— Какие чудные у вас места! — восхищалась она, гуляя. — Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают… — думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать…

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься…

— Помяни, господи, — бормочет он, — усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная…

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознания, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался…

— …идеже несть болезни, печалей и воздыхания… — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

Глупый француз

Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать.

— Дайте мне консоме! — приказал он половому.

— Прикажете с пашотом или без пашота?

— Нет, с пашотом слишком сытно… Две-три гренки, пожалуй, дайте…

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут…

— Челаэк! — обернулся он к половому. — Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка… семги, что ли?

«Странно… — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости… У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет… Говорят, что есть также болезни, когда много едят…»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный…

«Очевидно, болен… — подумал француз. — И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. — Не забудь зеленого луку!

«Но… однако, уж половины горы нет! — ужаснулся клоун. — Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно… Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота… Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги… Боже, уже нет горы!»

— Подашь бутылку Нюи… — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. — Только погрей сначала… Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов… Поскорей только…

— Слушаю… А на после блинов что прикажете?

— Что-нибудь полегче… Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и… и… Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. — Этот человек хочет умереть! Нельзя безнаказанно съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шёпотом:

— Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

— То есть, э… э… они требуют-с! Как же не подавать-с? — удивился половой.

— Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрд’отелю, пригласите полицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! — возмутился про себя француз. — Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы только выручка!»

— Порядки, нечего сказать! — проворчал сосед, обращаясь к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит пропадет к чёрту, и опоздаешь… Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.

— Pardon, monsieur[226 - Извините (франц.).], — побледнел Пуркуа, — ведь вы уж обедаете!

— Не-ет… Какой же это обед? Это завтрак… блины…

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать…

«Бедняга… — продолжал ужасаться француз. — Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает всё это нарочно… с целью самоубийства… Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!»

И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари…

«По-видимому, человек интеллигентный, молодой… полный сил… — думал он, глядя на соседа. — Быть может, приносит пользу своему отечеству… и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей… Судя по одежде, он должен быть богат; доволен… но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Чёрт знает как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его еще можно спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

— Послушайте, monsieur, — обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. — Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я друг ваш… Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды… у вас жена, дети…

— Я вас не понимаю! — замотал головой сосед, тараща на француза глаза.

— Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что… трудно не подозревать…

— Я много ем?! — удивился сосед. — Я?! Полноте… Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

— Но вы ужасно много едите!

— Да ведь не вам платить! Что вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов… За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру… с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. — Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О страна, чудная страна!»

Блины

Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле-славянского ab ovo…[227 - с яйца, с момента возникновения… (лат.)] Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами… В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трехсаженный папоротник или каменный нож; если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними…

Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому назад. Не видно и конца им и в будущем…

Принимая во внимание почтенную давность блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и благоутробия… Обидно и за давность и за примерную, чисто спартанскую стойкость… Право, кухня и чрево не стоят тысячи лет.

Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики-блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели… Кроме тяжелого, трудно переваримого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое… Но что именно?

Не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет поднесь глубокую, непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя… Да, блины, их смысл и назначение — это тайна женщины, такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите оперетку!

Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь… ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Купить или выменять секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение 1000 лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина!..

Как пекут блины? Неизвестно… Об этом узнает только отдаленное будущее, мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают… Это тайна!

Вы скажете, что и мужчины пекут блины… Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышит холодом, на зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских… Повара должны ретироваться и признать себя побежденными…

Печенье блинов есть дело исключительно женское… Повара должны давно уже понять, что это есть не простое поливание горячих сковород жидким тестом, а священнодействие, целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания… Да, страдания… Если Некрасов говорил, что русская женщина исстрадалась, то тут отчасти виноваты и блины…

Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…

Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнет печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до масленицы, таким образом домочадцы получают возможность есть блины и в масленичный понедельник и 13-го числа.

Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чем-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо… После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами… Хозяйка долго потом смотрит на принесенные дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет:

— Эти дрожжи никуда не годятся. Поди, скверный мальчишка, скажи, чтобы тебе получше дали…

Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи… За сим берется большая черепяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки… Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят ее в теплое место.

— Смотри же, не проспи, Матрена… — шепчет барыня. — И чтоб у тебя банка всё время в тепле стояла!

За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей, если же спят, то бредят и видят ужасные сны… Как вы, мужчины, счастливы, что не печете блинов!

Не успеет засереть за окном хмурое утро, как барыня, босая, разлохмаченная и в одной сорочке бежит уже в кухню.

— Ну, что? Ну, как? — забрасывает она вопросами Матрену. — А? Отвечай!

А Матрена стоит уже у банки и сыплет в нее гречневую муку…

В-третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев-мужчин не вошел в кухню в то время, когда там пекутся блины… Кухарки не пускают в это время даже пожарных. Нельзя ни входить, ни глядеть, ни спрашивать… Если же кто-нибудь заглянет в черепяную банку и скажет: «Какое хорошее тесто!», то тогда хоть выливай — не удадутся блины! Что говорят во время печения блинов женщины, какие читают они заклинания — неизвестно.

Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льет в банку немного горячей воды или же теплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это время, в ожидании блинов, шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят или же, по меньшей мере, женятся.

Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья… Первые три блина — это макулатура, которую может съесть Егорка… зато четвертый, пятый, шестой и т. д. кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несет сама хозяйка, красная, сияющая, гордая… Можно думать, что у нее на руках не блины, а ее первенец.

Ну, чем вы объясните этот торжествующий вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий… Еще бы, кажется, немного, и они прикажут долго жить…

Такова внешняя сторона священнодействия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдания… Очевидно, что-то есть, и это «что-то» тщательно скрыто.

Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой, мировой задачи.

О бренности

(Масленичная тема для проповеди)

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина… Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем…

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…

Но тут его хватил апоплексический удар.

Персона

«Вакансия на должность писца имеется в канцелярии г. Податного инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или 3 кл. гимназии, должны обращаться письменно с приложением своего жизнеописания, адресуя прошение на имя г. Податного инспектора в д. Поджилкиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

— Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалованье, сами видите, великолепное — 20 руб. в месяц! При нашей бедности я бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо… Только вот одно тут скверно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

— Ну, так что ж? Возьми и напиши…

— Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жизнеописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятое через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший слог был… Конечно! А то как вы думали? Ежели этак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреича, то он не важная шишка… Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что в объявлении сказано? «Адресуя прошение»… Про-ше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошения!

— Это так… — согласилась мамаша. — А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вам сказать… Должно быть, нужно!

Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам… Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде вышеписанного. Миша, с самой гимназии не съевший ни одного куска без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место. 20 рублей в месяц — деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей 5–6. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали 20 рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и походя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

— Чем шморгать-то из угла в угол, — перебила его мечтания мамаша, — сел бы лучше да и сочинил…

— Не умею я, мамаша, сочинять, — вздохнул Миша. — Признаться, я уж раз пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а выходит просто, словно тетке в Кременчуг пишешь…

— Ничего, что просто… Инспектор не взыщет… За мои матерние молитвы и терпение господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что… Небось, и сам-то он в твои годы не бог весть как учен был!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет… Хорошо, попробую…

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращенья глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал: «Ваше высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Наталии Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом…»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул всё написанное и, после некоторого размышления, написал снова то же самое…

«Потом он скончался, — продолжал он, — в бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренно, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-наивное… Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше высокоблагородие, дайте мне место, чтоб я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение.

— Позвольте узнать, где здесь канцелярия? — спросил он, заглядывая из передней в большую, скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата.

— А что вам нужно? — спросил рыжий человек.

— Тут я… две недели тому назад прошение подал… о месте писца… Могу я видеть г. инспектора?

— Это просто возмутительно… — пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. — Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

— Виноват-с… — забормотал Миша. — Я не знал-с…

И, неловко поклонившись, Миша вышел… Гонорар — увы и ах!

Иван Матвеич

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы. — Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты…

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя, — говорит он негодующим голосом. — Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он всё ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие, неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте, — говорит он, протягивая большую мокрую руку. — Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич! — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. — Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватает его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете!? — говорит он с отчаянием. — Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что… что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всплескивает руками ученый. — Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дому, — бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. — Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет… Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это, наконец, невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба… Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь, — подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. — Несносный вы человек… Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите… На чем мы остановились?

Иван Матвеич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том… запятая… что некоторые, так сказать, основные формы… написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал… запятая… которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них… С новой строки… Там, конечно, точка… Наиболее самостоятельности представляют… представляют… те формы, которые имеют не столько политический… запятая… сколько социальный характер…

— Теперь у гимназистов другая форма… серая… — говорит Иван Матвеич. — Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили…

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характер… написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству… государственных функций, а не регулированию народного быта… запятая… нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм… последние три слова в кавычках… Э-э… тово… Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага… так… А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь… Я из четвертого класса вышел.

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвеича.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвеич! Когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — обижается Иван Матвеич. — Зато в других строках больше сорока букв… Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право… Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвеич, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями… Иван Матвеич неловко, обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвеич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым… Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей… Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать… Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да… А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уж весной пахнет… Везде лужи, снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области… А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка… везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так… от нечего делать… — говорит Иван Матвеич и вздыхает. — Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу, и увязнет… А что мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да… Однако будем писать… На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.

— М-да… — говорит ученый. — Так-с… Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да… А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше… Вы много читаете?

— Признаться, мало… — говорит Иван Матвеич, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет…

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя… Нет, не читал!

— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг… даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, всё свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не клеится сегодня… — бормочет ученый. — Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью… Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

— Так-с… хорошо-с. А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, — говорит он. — Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас бог опоздать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь…

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

Ведьма

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие, жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал… Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало… Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный… Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

— Я зна-аю! — бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. — Я всё знаю!

У окна, на табурете сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, всё же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости — ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне… На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает…

— Поди ложись! — проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, всё время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

— Что?

— Ничего… Кажись, кто-то едет… — тихо ответила дьячиха.

Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое, рябое лицо и скользнул по всклоченной, жесткой голове.

— Слышишь? — спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

— Это почта… — проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

— Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха.

— Дело казенное. Хочешь — не хочешь, поезжай…

Стон подержался в воздухе и замер.

— Проехала! — сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

— Не слыхать… — пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон… Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

— Почту кружит! — прохрипел он, злобно косясь на жену. — Слышишь ты? Почту кружит!.. Я… я знаю! Нешто я не… не понимаю! — забормотал он. — Я всё знаю, чтоб ты пропала!

— Что ты знаешь? — тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

— А то знаю, что всё это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит… всё это ты наделала! Ты!

— Бесишься, глупый… — покойно заметила дьячиха.

— Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

— Тьфу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. — Да ты перекрестись, дурень!

— Ведьма и есть ведьма, — продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. — Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть… Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель и — что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло… Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как на утро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я всё видел, чтоб ему пропасть! Всё! О, красней рака стала! Ага!

— Ничего ты не видел…

— Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла… помнишь? — писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал… И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая… Добро бы, красивый был, а то — тьфу! — сатана!

Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер и в потемках за окном опять зазвякало.

— И теперь тоже! — продолжал Савелий. — Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

— Вот дурень! — усмехнулась дьячиха. — Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я ненастье делаю?

— Гм… Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

— О, безумие! О, иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

— Да и глупый же ты, Савелий! — вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. — Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай, каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но, тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

— Не то чтобы старики или косолапые какие, а всё молодые ночевать просятся… Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь чёрта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас — ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской — у-у-у! — спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!

— Да что ты пристал ко мне, окаянный? — вышла из терпения дьячиха. — Что ты пристал ко мне, смола?

— А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что… ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и всё объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм… желаете знать почему? Извольте… Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

— Ради бога, пустите погреться! — послышался дрожащий густой бас. — Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

— А кто вы? — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

— Почта! — ответил другой голос.

— Недаром дьяволила! — махнул рукой Савелий. — Так и есть! Моя правда… Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, в на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая…

— И тюки вносить? — спросила вторая хриплым басом.

— Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное, с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.

— Собачья жизнь! — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. — Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было… И чума его знает, когда всё это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

— На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, — ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.

— Слышь, Степан? — повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. — Мы на Гуляевский бугор попали!

— Да… далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и, немного погодя, внес другой тюк, поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

— Может, с дороги чаю покушаете? — спросила дьячиха.

— Куда тут чаи распивать! — нахмурился почтальон. — Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите…

— Наказал бог погодой! — вздохнула дьячиха.

— М-да… Вы же сами кто тут будете?

— Мы? Тутошние, при церкви… Мы из духовного звания… Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и… заместо сторожа. Ему споручено за церквой глядеть…

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

— Все-таки мы духовного звания… — добавила дьячиха.

— Чем же вы живете? — спросил почтальон.

— При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится… — вздохнула дьячиха. — Дядькинский отец Никодим, завидущие глаза, служит тут на, Николу летнего да на Николу зимнего и за это почти всё себе берет. Заступиться некому!

— Врешь! — прохрипел Савелий. — Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!

— Какой он у тебя сердитый! — усмехнулся почтальон. — А давно ты замужем?

— С прощеного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

— Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил! — сказал почтальон, глядя на спину Савелия. — И место получил, и жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

— Собачья жизнь… — пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. — И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое, протяжное «к-х-х-х…». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

— Ну, чего воззрилась? — сердито прошептал Савелий.

— А тебе что? Лежи! — ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдыхнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та всё еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

— Зачем ты это? — спросила дьячиха.

— Чтоб огонь ему в глаза не бил.

— А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

— Ну, не хитрость ли бесовская? — воскликнул он. — А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?

— А, сатана длиннополая! — прошипела дьячиха, поморщившись от досады. — Погоди же!

И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые, стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

— Хоть я и длиннополый нечистый дух, — проговорил, немного постояв, Савелий, — а тут им нечего спать… Да… Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего… Эй, ты! — крикнул Савелий в сени. — Ты, ямщик… как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

— Эй, ваше благородие! Ехать, так ехать, а коли не ехать, так и не тово… Спать не годится.

Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

— А ехать же когда? — забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. — На то ведь она и почта, чтоб во благовремении поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный, масленый взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему всё это снилось.

— Ну, куда в такую погоду ехать! — услышал он мягкий женский голос. — Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

— А почта? — встревожился Савелий. — Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился.

— Пять минуток еще бы можно поспать… — зевнул он. — Всё равно опоздали…

— А может, как раз вовремя приедем! — послышался голос из сеней. — Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

— Помоги, что ль! — крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

— Чаю бы попили… — сказала она.

— Я бы ничего… да вот они собрались! — соглашался он. — Всё равно опоздали.

— А вы останьтесь! — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал, наконец, узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

— Какая у тебя… шея…

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо…

— Фу, какая…

— Остались бы… чаю попили бы.

— Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! — послышался со двора голос ямщика. — Поперек клади.

— Остались бы… Ишь как воет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда… всё на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик… Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился словно в раздумье.

— Всё готово! — сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

— Что же, садись, показывай дорогу! — услышала она.

Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Всё, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль всё это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала…

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

— Даром только ворожила: уехал! — сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

— А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! — пробормотал он, съеживаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

— Будет с тебя и места, — сказала она, — а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи!

— Ну, ну… Спи!

— Несчастная я! — зарыдала дьячиха. — Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном всё еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую, непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее…

— Ведьма! — негодовал он. — Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка… подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала… Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

— Отстань! — крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка всё еще продолжалась.

РАССКАЗЫ, ЮМОРЕСКИ

1886

Отрава

На земле весь род людской…и т. д.

Из арии Мефистофеля.

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К&#186;. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а всё это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви… Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней… Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (чёрт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово… Уговор лучше денег… Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться… Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово… ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не всё ли это равно? — вспыхнул идеалист. — И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то… Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал… Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро… Так-то, друг милый Петя… Охохоххх… (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь… В случае, ежели что-нибудь этакое… детородность, там, или другое какое событие, то могу помогать… Понемножку могу… Даже сейчас могу…

— Выдумали, ей-богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить… Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

— На, бери! — сказал он. — Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь… Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай… А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу…

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет… Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю…

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

— Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шёлковой, знаешь, обивкой… Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, чёрт ее побери, заковыристой лампой… Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене?[228 - Вы понимаете? (франц. Vous comprenez?)] Ха-ха… В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом… То есть, чёрт знает как хорошо всё это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, чёрта… Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать… Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану…

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет…

«А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. — Одна софа, небось, рублей четыреста стоит…»

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, г. доктор, собственно говоря, не болен, — начал идеалист, мило улыбаясь, — а пришел к вам по делу… Видите ли, я вчера женился и… мне очень нужны деньги… Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу…

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза доктор.

— А вот по этому… Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то… Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы чёрт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой… Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с… — сконфузился Лысов, — я не знал-с…

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

— А когда же прикажете за получением приходить?

— Никогда… Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и… наложить запрещение на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этот ваш Затыкин, или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же…»

Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо… В этом письме он категорически и угрожая судебным приставом просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо… Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу…

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала… Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки, портному, в лавочку… Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет… Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать… — кончил он. — Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психопат… — ухмыльнулся Клябов. — Кто же, скажите пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово… добросовестны!

— Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же всё проценты! И я не заплачу… По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке. — Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу… Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей… Слышишь? Поди, так и скажи…

— Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

— Аа… для тебя он, значит, дороже мужа! По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается… — пробормотал Лысов. — Этого еще недоставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь… не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги… Этим стуком и завершился медовый месяц…

Рассказ без конца

(Сценка)

В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг, неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха.

— Просит, барин, чтоб вы к ней сходили… — сказала кухарка, тяжело переводя дух. — С ее жильцом нехорошо случилось… Застрелился или завесился…

— Что же я могу сделать? — сказал я. — Пусть идет к доктору или в полицию!

— Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печку забилась… Сходили бы, барин!

Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нащупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.

Сейчас я пишу не святочный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые, аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залика на двух столах стоял гроб. Восковые свечки горели для того, чтобы освещать маленькое смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисеи, а из волн глядели две бледные неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы залика, образа за гробом, гроб — всё, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно-мертвенно, как сама могила…

«Что за чудеса? — подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. — Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»

Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой…

— Воды дайте… — услышал я стон.

Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.

— Здесь есть кто-нибудь? — спросил я.

И, не дожидаясь ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих, на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его на луже крови валялся револьвер.

— Не уходите… — услышал я слабый голос, когда потухла спичка. — Свеча на столе.

Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.

— Боль нестерпимая, — прошептал он, — а нет сил выстрелить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!

Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между 5 и 6 ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку — только. Самую пулю нашел я в складках сюртучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки, полотенца и двух платков, я дал больному напиться и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во всё время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.

— Теперь вы потрудитесь лежать покойно, — сказал я, покончив с повязкой, — а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.

— Не нужно! — пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь.

В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.

— Не нужно! Посидите еще минут пять… десять… Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.

Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом, да прескверная олеография на стене — вот и всё, что я увидел. Сыро, мрачно и серо.

— Какой ветер! — проговорил больной, не открывая глаз. — Как он ноет!

— Да… — сказал я. — Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?

— А что? — спросил он, быстро открыв глаза. По лицу его пробежала тучка.

— Точно я видел вас там. Вы не Васильев?

— Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.

— Не легче, но я спросил вас так… между прочим.

Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.

— Не понимаю я этого любопытства! — проворчал он. — Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!

Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:

— Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и… неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах!

— Напрасно вы волнуетесь… Я и не думал спрашивать вас о причинах.

— Так спросили бы… Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите… Я и сам, признаться, не понимаю… Есть протокольно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны… Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать «из дневника самоубийцы». Один только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.

— Всё это очень мило, — сказал я, — но вам не следует много говорить…

Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора:

— Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выеденного… Всё зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время… Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страстно желал смерти, теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?

— Свет, действительно, влияет… — пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь. — Влияние света на организм…

— Влияние света… Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего…

— Простите, — сказал я, — но… судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы… рисуетесь.

— Да? — спохватился Васильев. — Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь… Объясните-ка!

Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!

— Вы здесь? — спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. — Боже мой! Нужно только прислушаться!

Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.

— «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие», — читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

— Не правда ли, это весело? — прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. — Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Не знающих привел бы он в смятение, — как говорит Гамлет, — исторг бы силу из очей и слуха». Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?

— Без пяти три.

— Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады… брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!

Помолчав немного, он вдруг спросил:

— Давно видали генерала Лухачева?

— С самого лета не видел.

— Любит петушиться, но милый старикашка. А вы всё пописываете?

— Да, немножко.

— Так… А помните, каким фырсиком, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело… Даже при воспоминании весной пахнет… А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.

— Вы опять… рисуетесь, — сказал я. — В вашем положении ничего нет юмористического.

— Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?

Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.

— Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, — сказал он, — но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году, на ваших глазах, не знал, куда деваться от счастья, а теперь, на ваших же глазах…

Васильев упал головой на подушку и засмеялся.

— Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц… мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и… завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.

Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.

— Послушайте, — сказал я, — вы лежите, а я схожу в аптеку.

Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, я взглянул на гроб и читавшую Милютиху. Как я ни напрягал зрения, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенькую ingenue лухачевской труппы.

«Sic transit», — подумал я.

Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате всё время, пока не наступило утро и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду.

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, едва волоча ноги и изредка конвульсивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, когда я каким-то ничтожным вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная злоба.

— «Кол&#1123;сное зав&#1123;дение», — прочел он вывеску. — Безграмотные невежи, чёрт бы их взял совсем!

С кладбища я повез его к себе.

Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены.

В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет. Ему весело.

Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда снисходительный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.

— Чёрт возьми, какие ужасы, — бормочет он, улыбаясь.

Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол.

— Чем же кончить? — спрашиваю я его.

— Чем кончить? Гм…

Он окидывает взглядом комнату, меня, себя… Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам и… упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.

— Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что всё это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать, выстрадал чёрт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, вечна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! Словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно всё на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!

— Петр Николаевич, скоро же вы? — зовут моего героя нетерпеливые дамы.

— Сию минуту-с! — говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстух. — Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? Homo sum…А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли да о тех страхах, которые приходится каждому из нас переживать, будь всё это вечно, скверно жилось бы тогда на свете нашему брату человеку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отчаяние и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теориями вроде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.

— Чем же кончить? — спрашиваю я себя вслух.

Васильев, посвистывая и поправляя галстух, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий, — жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то…

Шуточка

Ясный, зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Всё пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот еще мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать всё тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит… Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость…

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз… прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса.

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне… мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и всё ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются всё те же двое: я и ветер… Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей по-видимому, уже всё равно; из какого сосуда ни пить — всё равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня… Затем она робко идет вверх по лесенке… Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места… «Жжжж…» — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать…

Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что&#769; делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться…

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла — это всё равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…

Агафья

В бытность мою в С-м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то, чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его… От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами наперегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению и то только, когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошёптывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу.

Всё замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то не известная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

— Отчего это нынче соловьи не поют? — спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал коростель.

— Вот вам и соловей… — усмехнулся Савка. — Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

— Мне нравится эта птица… — сказал я. — Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то всё пешком.

— Ишь ты, собака… — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему всё, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и всё время улыбался от удовольствия.

— А какой край для птиц роднее? — спросил он. — Наш или тамошний?

— Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, всё любопытно. Птица таперя, человек ли… камешек ли этот взять — во всем своя умственность!.. Эх, кабы знатье, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить… Просилась одна нынче придтить…

— Ах, сделай милость, я мешать не стану! — сказал я. — Я могу и в роще лечь…

— Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла… Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком.

— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.

— Нет… Нынче новая просилась… Агафья Стрельчиха…

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал… Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19–20, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории! — вздохнул я.

— А пусть…

И, немного подумав, Савка прибавил:

— Я говорил бабам, не слушаются… Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание… Потемки, между тем, всё более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились всё ярче, лучистее… Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще бо&#769;льшую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба…

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:

— Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то… Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика и принялись за еду… Серая, крупная соль, грязные, сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как всё это вкусно!

— Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого, — сказал я, указывая на чашку. — Где ты его берешь?

— Бабы носят… — промычал Савка.

— За что же это они тебе носят?

— Так… из жалости…

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить… Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.

— Кто-то бродом идет… — сказал Савка.

Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

— Цыц! — крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно, — это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— А… это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

— Я… я-с, — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. — Кланялся вам Яков и велел передать… вот тут что-то такое…

— Ну, что врать: Яков! — усмехнулся Савка. — Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

— А уж я думал, что ты не придешь нынче… — сказал Савка после продолжительного молчания. — Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить?

— Выдумал! — проговорила Агафья. — Пьяницу какую нашел…

— А ты выпей… Жарче на душе станет… Ну!

Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то… — продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно-шутливый оттенок. — Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А, пирог и картошка… Хорошо живут! — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. — Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впотьмах я не видел лица Агафьи, но, по движению ее плеч и головы, мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую, мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

— Это вчерашний! — сказал он. — Постой же!..

И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще.

— Ну, на что он тебе сдался? — крикнул я ему вслед. — Оставь!

Савка махнул рукой — не кричите, мол — и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасинником щук, или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью… От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

— Как живешь, Агаша? — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.

— Слава богу… Вы же никому не рассказывайте, барин… — прибавила она вдруг шёпотом.

— Ну, полно, — успокоил я ее. — Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша… А если узнает Яков?

— Не узнает…

— Ну, а вдруг!

— Нет… Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет…